

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»

В статье обсуждается вопрос о необходимости уточнения понятия «лингвистический эксперимент», о возможности придания ему терминологического статуса и, соответственно, наделяния его большей объяснительной силой и типологической значимостью. Автор подвергает сомнению практику чрезмерно широкого толкования данного понятия, позволяющую использовать его в качестве синонима, метафоры или характеристической дефиниции «языковой игры». В статье также приводятся аргументы в пользу того, что из двух понятий — «лингвистический эксперимент» и «метаязыковая рефлексия» — второе более точно отражает интровертивную природу художественной речевой деятельности.

ON THE INTERPRETATION
OF THE TERM “LINGUISTIC EXPERIMENT”

The article considers the specification of the concept “linguistic experiment” that is widely used as a synonym, metaphor or definition of speech play. Its usage in a more specific or terminological way could give it greater explanatory power and typological relevance. The author argues that the “linguistic experiment” should not be mixed up with the “metalinguistic reflexivity” concept that seems to be more appropriate and helpful in revealing the inner mechanisms of artistic communication or speech play.

Конец XX в. вошел в лингвистику как период «резкой активизации теоретической рефлексии» [14], сопровождающийся повышенным интересом к методологическим проблемам, ужесточением требований к научным концепциям и уточнением общих понятий: «принцип», «метод», «объект», «теория». Их постепенная и повсеместно отмечаемая девальвация отрицательно сказалась на состоянии метаязыка лингвистики. Общая оценка этого состояния содержится в словах Ц. Тодорова: «Широко распространенное метафорическое употребление терминов «язык», «грамматика», «синтаксис» нередко заставляет нас забывать о том, что эти слова могут иметь точный смысл — причем не только применительно к естественному языку» [19]. К числу размытых понятий относится и «лингвистический эксперимент»: так принято обозначать разнообразные виды художественной речевой деятельности, собирательно именуемые «языковой игрой». В чем именно состоит неточность принятого обозначения, с одной стороны, и его объяснительная сила — с другой? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо подвергнуть семантическому анализу как сам термин, так и его употребления в лудологических контекстах (NB: лудология — область исследования игрового поведения, включая речевое, от *lat.* *ludo*, *ludens*, etc).

В точном смысле слова лингвистический эксперимент — это «метод, позволяющий изучать факты языка в условиях, управляемых и контролируемых исследователем» [13]. Но в

большинстве научных публикаций этот термин используется в значениях, весьма далеких от исходного. В фокус исследовательского внимания попадают «поэтические» и «литературные» эксперименты [24], «логико-семиотические» эксперименты в фольклоре [12] и на сцене [18], «наивные» языковые эксперименты [4] и т. п. Несмотря на смысловые нюансы, обусловленные различным характером исходных данных, перечисленные виды экспериментов, как правило, отождествляются с производством языковых аномалий («отрицательного языкового материала»), с намеренными отклонениями от нормы. Показательно, что в данной интерпретации термин получил широкое распространение именно в отечественной лингвистике, где, по замечанию А. Мустайоки, всегда были сильны традиции литературоцентризма, отдающие приоритет изучению «официальной» нормы и «нормированного» узуса [16]. Эти традиции в значительной мере сформировались под влиянием известных теорий «литературности», описывающих объект исключительно или преимущественно в технико-поэтических категориях. Именно в контексте этих теорий «лингвистический эксперимент» приобрел статус популярной научной метафоры, претендующей на роль термина и, по-видимому, отражающей определенную методологическую ориентацию. Но возможно ли, заимствуя термин из языка-объекта, абстрагироваться от его «естественной», изначальной семантики? Или, может быть, следует опираться на нее, чтобы упорядочить научный

анализ дотеоретических данных? В статье делается попытка разрешить эту методологическую дилемму.

Слово «эксперимент» давно приобрело статус межотраслевого омонима в силу его универсальности, способности вызывать междисциплинарные аналогии и положительные коннотации. Это подтверждают и его системные, в частности синонимические связи (ср. англ. *experiment – proof, trial, test, verification, attempt, examination, practice, exercise, endeavor, undertaking* [25]). Что касается выражения «лингвистический эксперимент» в его специальном значении (в качестве синонима «языковой игры»), оно, строго говоря, не выдерживает «проверки на дефинитивность» и потому не может считаться адекватным термином. Но его ассоциативные и комбинаторные связи (при внимательном их изучении) открывают возможность нетрадиционных подходов к систематизации фактов художественной речевой деятельности. (NB: В терминоведении строгость термина определяется тем, применима ли к нему классифицирующая, родо-видовая дефиниция. Но это требование, в свой черед, не распространяется на «открытые понятия», из которых преимущественно состоит концептуально-терминологический аппарат гуманитарных наук, включая лингвистику).

По замечанию Н. Д. Арутюновой, «экспериментами над языком занимаются все: поэты, писатели, остряки и лингвисты...» [2]. К этому списку нужно добавить: дети, философы, члены экстремальных групп, профессиональных и рекреационных коллективов и т. д. Эта «универсальная приверженность общества к поэтическому началу» [5] объясняется как единством человеческой природы, так и свойствами самого объекта (т. е. языка). Эксперимент как метод познания раскрывает прежде всего природу объекта и лишь косвенно указывает на свойства субъекта. На «лингвистический эксперимент» говорящих, несомненно, провоцирует сам язык, когда случайно или помимо их воли обнаруживает свои скрытые (альтернативные) возможности. Они заложены в фундаментальных свойствах самой языковой системы — таких как избыточность, ав-

тономность (конечность), конвенциональность, произвольность и асимметрия знаков, уровневая их организация и линейный способ развертывания, тенденция к изменению и вариативности, субстанциальность, адаптированность языковых элементов к использованию в речи, наличие предписывающих и разрешающих правил. Каждое из этих существенных свойств может использоваться «не по назначению». Так, конечность единиц низших уровней обеспечивает высокую вероятность звуковых совпадений, создавая рифмы, аллитерации, каламбуры, препятствующие «эффективной» коммуникации. Благодаря своей физической субстанции (звуковой и графической), знаки могут выступать в несвойственных им функциях — миметической и орнаментальной. Хрестоматийные примеры — звукоподражания и поэтические опыты, где звук становится «эхом смысла» (А. Поуп), фигурные стихи, псевдонадписи и т. п. «Эстетическое созерцание в процессе восприятия этих привлекательных для слуха или зрения «предметов» выделяет в них вовсе не те же самые свойства и отношения, которые делают их фонемами языка и графемами письма, т. е. не ту же «форму выражения», которая зафиксирована в сигнификанте знака» [22]. Членимость языковых единиц и способ их линейзации также могут иметь побочные эффекты, возникающие по вине (недосмотру или произволу) говорящего — метатезы и причудливые контаминации, дисфонические сочетания и аграмматичные структуры. Асимметрия языковых знаков порождает всевозможные «игры со смыслами», достаточно подробно описанные риторикой, стилистикой и лингвистической семантикой. Конвенциональность и произвольность знаков могут (с помощью говорящих) также привести к обратному эффекту — к созданию приватных и тайных языков, т. е. к полной или частичной утрате коммуникативной функции и замене ее функцией конспиративной (криптолалической).

Парадоксальные отношения между «семиотическими» и «несемиотическими», органичными и приобретенными, первичными и вторичными свойствами языковой системы подтверж-

дают реальность действующих в ней разрушительных, «антисистемных» сил [3]. Причем в условиях «лингвистического эксперимента» язык выступает не в качестве пассивного объекта, а активно воздействует на языковое сознание и поведение говорящих. Среди фольклористов бытует мнение, что идея поставить мир «с ног на голову» часто подсказывается самим языком, когда над ним теряют контроль — как это случается с завсегдатаями таверн, в чьей заплетающейся речи озвучиваются крамольные мысли-перевертыши: «Ногми в шляпе хожу, а на голове сапог ношу» [17] / “A village sat in a peasant” [27].

Но если к эксперименту предрасполагает сама языковая система, то его характер, интенсивность и успешность всецело определяются субъектом. При этом «удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, неудачный — на их пределы» [2]. Лингвистические эксперименты на сцене, в художественной литературе и фольклоре (не говоря уже о «наивных» или «стихийных») не всегда поддаются классификации, генерализации и, тем более, исчислению. Приняв во внимание условность самого термина, можно так же условно выделить наиболее общие виды экспериментов над языком, выбрав в качестве критерия один из самых очевидных — степень радикальности или, иначе, степень «толерантности» по отношению к исследуемому объекту.

Наиболее толерантными по отношению к языковой системе являются качественные эксперименты, подтверждающие ее фундаментальные свойства путем их утрирования. Для литературных и фольклорных опытов, вписывающихся в «аффирмативную традицию» [21], характерно «щадящее» отношение к языку. В эту категорию попадает и обоснованный Р. Якобсоном принцип тождества, перенесенный «с оси селекции на ось комбинации» [23] и наглядно (но не единственно) воплощающийся в регулярном повторе одинаковых звуков. Такого рода эксперименты традиционно описываются орнаменталистскими теориями поэтического языка с их ключевыми понятиями гармонии и упорядоченности, повтора и усиления, инкрустации и «украшения».

Ко второму типу относятся более радикальные, но все же достаточно «умеренные» эксперименты, исследующие семиотические пределы языковой системы и испытывающие ее на прочность. В ходе таких экспериментов обычно сокращается или увеличивается число предписывающих и разрешающих языковых правил, как, например, в липограммах, основанных на систематическом пропуске какой-то буквы или слога в тексте. Известны, в частности, опыты «переписывания» шекспировских пьес: «Отелло» без буквы «О», «Макбет» — без «А», «Гамлет» — без «Г». Испытание языка на прочность может заключаться и в устранении асимметрии знаков, в редукции избыточности на всех уровнях. Избыточность определяется как «довольно дорогостоящая особенность языка», которая «... направлена на то, чтобы обеспечить языковым сообщениям определенный иммунитет к ошибкам, возникающим при передаче информации» [7]. В результате редукционистских операций снижается степень эксплицитности художественного сообщения и соответственно возрастает его имплицитность. Лингвистические опыты такого рода в свое время способствовали возникновению минималистских тенденций в художественной литературе и фольклоре. Пределы языковой системы постигаются и с помощью «отклонений от нулевой ступени», возникающих в результате количественных операций над языковыми правилами и также понижающих иммунитет к ошибкам. При этом «нарушение никогда не является разрушением языковых правил в смысле их отрицания: оно всегда отсылает к правилам, обнаруживая их ... именно в нарушении» [11]. Понятие «отклонение» и его варианты («остраняющий прием», «затрудненная форма» и т. п.) лежит в основе дихотомических поэтик, противопоставляющих «практический» язык «поэтическому». Неудивительно, что в сферу их анализа входят именно отрицательные эксперименты.

Для характеристики лингвистических опытов третьего типа уместно позаимствовать термин из этнометодологии — «кризисный эксперимент». Цель таких экспериментов — разрушение существующей языковой системы и

создание системы альтернативной. Реализовать данный проект чрезвычайно трудно, так как для этого требуется одновременно посягнуть на все сущностные свойства языка, на само его устройство. Из-за невозможности сделать это на всех уровнях для эксперимента обычно выбирается один из них (например, тайные языки, претендующие на альтернативность, строятся на основе лексических замен, на введении относительно небольшого числа «шифроподобных» выражений, но без отмены фонетических и грамматических правил). Гораздо проще не разрушать «старую» языковую систему, а внести в нее символическую путаницу и тем самым создать иллюзию ее неустойчивости, нерегулярности, неавтономности. Этим обычно и заканчиваются кризисные эксперименты. «Спутанность» языковой системы усматривается в самом факте сосуществования «старой» и «альтернативной» систем при явном доминировании первой. Похоже, что альтернативная система не выдерживает длительного использования и поэтому вводится в текст короткометражно, небольшими порциями (как заметил К. Ажеж, «мятежи против языка носят маргинальный характер» [1]). К кризисным экспериментам относятся и многочисленные «игры беспорядка», приписываемые «кромешному» (изнаночному) миру. Тем не менее, и в литературе, и в фольклоре, и в праздноречевых жанрах — преимущественной сфере бытования языковой игры — аффирмативная традиция преобладает над инновационной, а «литературные выдумки одаренных индивидов принимаются языковым коллективом отнюдь не с большим одобрением, чем глоссолалия» [1]. Авангардистский художественный опыт, эксплуатирующий возможности «ненормированного эстетического» [15], наиболее исчерпывающе исследуется функциональными поэтиками, в понятийном аппарате которых имеется специальный термин для его описания — «акоммуникативность».

Представленная выше схема соответствий между известными теориями поэтического языка и интенсивностью проявления в нем «антиномий развития» (аналогии и аномалии, симметрии и асимметрии, системности и ан-

тисистемности), несомненно, требует серии эмпирических доказательств, включающих и более детальное описание «лингвистических экспериментов», и их типологизацию. Но и на стадии предварительных рассуждений, при заведомо «квантитативном» подходе к объекту рассмотрения нельзя не отметить эксплаторные возможности понятия «эксперимент» применительно к способности языка играть собственными звуками и смыслами. Но это же самое понятие теряет свою объяснительную силу, когда в поле исследования попадает играющий субъект (*homo ludens*), чье речевое поведение представляет собой нечто большее, чем причудливые операции над кодом. Иначе говоря, становится очевидным искусственный характер тождества «языковая игра» = «лингвистический эксперимент», тождества, установленного вопреки общим знаниям о языке, о названных предметных областях, а также вопреки «иерархическим» [6] знаниям.

Несомненно, существует определенное онтологическое сходство между игрой и экспериментом. Оба вида деятельности имеют «постановочный», моделирующий характер, т. е. основаны на совершении правдоподобных действий в предлагаемых обстоятельствах. И в игре, и в эксперименте искусственно сужается круг внимания участников, замыкаясь на конкретном объекте или символической цели. И то, и другое предполагает ограниченный диапазон реакций на исход постановочного действия. Наконец, и игра, и эксперимент (по гласной или негласной договоренности) не влекут за собой тех последствий, которыми сопровождаются «естественные» события и за которые участники несут большую ответственность, чем за исход игры или эксперимента. Все эти факторы способствуют созданию особой — эйфорической, «эмоциогенной» — атмосферы, в разной степени присущей всем инсценированным (по взаимному согласию) событиям. Как и в игре, в экспериментальных видах деятельности присутствует (хотя и в меньшей степени) эстетический компонент. Онтологическое сходство игры и эксперимента проявляется и в их взаимнообратимости. Эксперимент может плавно трансформировать-

ся в игру, что нередко происходит с социолингвистическими тестами: их эмоциогенность заметно возрастает, когда респондентам требуется показать некоторые драматические способности — от выразительного чтения подобранных списков слов до изображения какой-то социальной (этнической) группы с помощью приема речевой маски. В свой черед, игра может понизиться в своем лудическом статусе, превратившись в эксперимент. К таким пограничным случаям относятся, например, дидактические, контролируемые извне, игры. Они могут высоко оцениваться в педагогической среде, но их эмоциогенность редко достигает уровня, присущего стихийным играм. Мнемонические приемы, рифмовки-призывы, ложные аналогии («веселая грамматика»), специально сконструированные для образовательных целей, в заданных контекстах обычно воспринимаются как забавные упражнения и не более того. Иными словами, эксперимент не есть игра, а игра не может быть сведена к эксперименту. Честная игра, как известно, основана на добровольной, взаимной договоренности сторон о «небуквальной интерпретации события», потому цели ее символичны, а результат (выигрыш / проигрыш) имеет чисто психологическое значение. Эксперимент же обычно продиктован какой-то «практической» необходимостью и целью, которую всегда могут сформулировать организаторы эксперимента и о которой знают или (в большинстве случаев) догадываются его участники. Наличие «экспериментальной» установки предопределяет и речевое поведение участников, менее «легкомысленное», чем в игре. Игру и эксперимент, несомненно, объединяет наличие «контролируемых и управляемых условий», в которых осуществляется деятельность. И в том, и другом случае это деятельность эвристическая, направленная на решение проблемной или конфликтной ситуации. Но характер поиска в обоих случаях различен. Эксперимент определяется как метод познания. В каком-то смысле игра — это тоже способ познания, но способ фольклорный, который состоит в усвоении или передаче сведений о мире преимущественно через показ и подражание. В слу-

чае «языковой игры» это прежде всего сведения о языке, речи, коммуникации, речеповеденческих стереотипах, лингвистических установках и т. д. В настоящее время становится правилом говорить о процессе культурного осознания этих сведений как о виде стихийной рефлексии над языком (см., в частности, [26; 28]). Насколько точно эта дескрипция характеризует суть «языковой игры» разного уровня и эстетического достоинства и как она соотносится с понятием лингвистического эксперимента? Вопрос о наименованиях и дефинициях не лишен актуальности, поскольку названные понятия нередко смешиваются или синонимизируются в современном лудологическом дискурсе.

На основании тех же упомянутых общих знаний (языковых, иерархических и знаний о соответствующих предметных областях) можно утверждать, что эксперимент и рефлексия различаются прежде всего характером субъектно-объектных отношений. В эксперименте субъект занимает (по отношению к объекту) позицию стороннего, хотя и заинтересованного наблюдателя. В рефлексии же всегда содержится элемент созерцания, которое психологически описывается как «целостно-интуитивное, недискурсивное погружение в предмет, вплоть до эмпатического слияния с ним» [20]. Игра в ее изначальном — антропологическом и театроведческом — смысле также требует недискурсивного погружения в предмет, идентификации с ним, хотя бы и символической. «Диалектика игры состоит в том, что игра принадлежит человеку в той же мере, в какой сам игрок принадлежит игре» [10]. Эксперимент всегда целенаправлен. Рефлексия не имеет конкретных, «ближних» целей. Аксиоматическое утверждение о том, что рефлексия убивает игру, не совсем точно. Игру убивает не рефлексия, а возможное присутствие в ней посторонних целей, не предусмотренных ее имманентными правилами (по наблюдениям психологов, в казино редко выигрывает тот, кто с помощью игры хочет сознательно улучшить свое материальное положение). Несколько односторонни, с точки зрения тех же общих знаний, и некоторые из существующих определе-

ний метаязыковой рефлексии (ср.: «реализация универсального стремления человека придать литературно-языковому опыту упорядоченный и рациональный характер» [9]). Присущие рефлексирующему сознанию интуитивность и эмпатический опыт «погружения в предмет» не согласуются с представлениями об упорядоченности и рациональности. Эти качества скорее характеризуют сознание экспериментатора. Таким образом, из двух понятий, обозначающих два типа познавательной деятельности, «рефлексия», по-видимому, в большей степени отражает природу игры, чем «эксперимент». Неслучайны слова Р. Якобсона о том, что «поэтическая функция предполагает интровертивное отношение к вербальным знакам» [24], а не экспериментальное. Исследование такого отношения никогда не входило в задачи упомянутых поэтических теорий. Наиболее близко к якобсоновскому пониманию поэтической функции («риторической интенции») и ее способности «расщеплять» сознание адресанта и адресата подошел М. М. Бахтин, чья теория получила название «контекстуально-диалогической» [11]. В ее категориальном аппарате отсутствует понятие эксперимента: неслучайно данная поэтика не вписывается в наметившуюся систему соответствий между типом лингвистического экспериментирования и методологией его исследования. Совершенно очевидно, что в терминах «разноречия», «диалогизма»,

«своего» и «чужого» слова можно обсуждать только поведение субъекта речи, а не операции над кодом.

Сказанное не означает, что современной лингвистике с ее ориентацией на человека следует отказаться от популярной научной метафоры («лингвистический эксперимент»), хотя было бы желательно употреблять ее с большей осторожностью. Известно, что наличие в метаязыке науки близких и смежных, синонимичных и дублетных понятий играет нормализующую роль, поскольку естественное стремление исследователя к их разграничению позволяет, по словам О. С. Ахмановой, «терминологически отразить различные стороны объекта» [13], в данном случае феномена «языковой игры». Это сложный, многоплановый тип речевой деятельности, «сосредоточивающий в себе одновременно и психологическое поведение, и философские опыты, и поэтическую практику» [8]. Эпистемологический план этой деятельности естественно описывать в терминах «метаязыковой рефлексии», поэтико-технический – в терминах «лингвистического эксперимента», а культурно-философский ее смысл требует истолкования в категориях социо- и антропологической лингвистики. Но при любом подходе к объекту (холистичном или аспектирующем) и разности методологических установок необходимо сознавать, что «попытки привести понятие игры к какому-либо основному значению обречены на неудачу» [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М.: Эдиториал УРСС, 2003. С. 179, 244.
2. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988.
3. Будагов Р. А. Система и антисистема в науке о языке // Будагов Р. А. Язык и речь в кругозоре человека. М.: Добросвет, 2000. С. 208–228.
4. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
5. Винокур Т. Г. Устная речь и стилевые свойства высказывания (К постановке вопроса) // Разновидности городской устной речи / Отв. ред. Д. Н. Шмелев, Е. А. Земская. М.: Наука, 1988. С. 80.
6. Гудман Б. А. Идентификация референта и связанные с ней коммуникативные неудачи // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 24. Компьютерная лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 238.
7. Дюбуа Ж., Мэнге Ф., Эделин Ф. и др. Общая риторика. М.: Прогресс, 1986. С. 74.
8. Жаккар Ж. В. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995. С. 340.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

9. *Запольская Н. Н.* «Общий» славянский литературный язык: Типология лингвистической рефлексии. М.: Индрик, 2003. С. 10.
10. Игровое пространство культуры: Материалы научного форума / Ред. В. В. Чубарь. СПб.: Евразия, 2002. С. 8–10.
11. *Лахманн Р.* Демонтаж красноречия: Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб.: Академический проект, 2001. С. 260.
12. *Левин Ю. И.* Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998.
13. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 590, 509.
14. *Мельников Г. П.* Системная типология языков. М.: Наука, 2003. С. 19.
15. *Мукаржовский Я.* Структуральная поэтика. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 54.
16. *Мустайоки А.* О предмете и цели лингвистических исследований // Язык: система и функционирование. М.: Наука, 1988. С. 170–181.
17. *Поньрко Р. В.* Смеховые тексты // Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 265.
18. *Ревзин И. И., Ревзина О. Г.* Семиотический эксперимент на сцене // Труды по знаковым системам. Вып. 284. Т. 5. Тарту, 1971. С. 232–254.
19. *Тодоров Ц.* Грамматика повествовательного текста // Текст: аспекты изучения семантики, прагматики и поэтики. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 176.
20. ФЭС – Философский энциклопедический словарь / Под ред. С. С. Аверинцева и др. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 596.
21. *Ханзен-Леве О.* Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 21.
22. *Чертов Л. Ф.* Знаковость: Опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 340.
23. *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 204.
24. *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 80.
25. *Devlin J.* A Dictionary of Synonyms and Antonyms. N. Y.: Popular Library, 1961. P. 93.
26. *Fludernik M.* The Fictions of Language and the Languages of Fiction: The Linguistic Representation of Speech and Conscience. L.; N. Y.: Routledge, 1993.
27. *Kunzle D.* World upside down: the iconography of a European broadsheet type // The Reversible World: Symbolic Inversion in Art and Society. Ithaca; L.: Cornell University Press, 1978. P. 78.
28. Metalanguage: Social and Ideological Perspectives / Ed. by A. Javorski and D. Coupland. Berlin; N. Y.: de Gruyter, 2004.